

Савва Морозов. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Савва Морозов. Максим Горький

В 96-м году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головой, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку.

В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких ворчливых возгласов.

Я спросил:

- Кто это?

- Савва Морозов.

...Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссийское купечество разговаривало об отказе Витте в ходатайстве комитета о расширении срока кредитов Государственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год Нижегородская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца раньше обычного. Представители промышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отказом.

- Беру слово! - заявил Савва Морозов, привстав и опираясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя широкими мазками ловко подобранных слов значение русской промышленности для России и Европы. В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором.

- У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а теперь государство надо строить на железных балках... Наше соломенное царство не живуче... Когда чиновники говорят о положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих, - вы все знаете, что это - "положение во гроб"...

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кредитах и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте - слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде пронизательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими.

Года через четыре я встретил Савву Морозова за кулисами Художественного театра, - театр спешно готовился открыть сезон в новом помещении, в Камергерском переулке.

Стоя на сцене с рулеткой в руках, в сюртуке, выпачканном известью, Морозов, пиная ногой какую-то раму, досадно говорил столярам:

- Разве это работа?

Меня познакомили с ним, и я обратился к нему с просьбой дать мне ситцу на тысячу детей, - я устраивал в Нижегородском манеже елку для ребятишек окраин города.

- Сделаем! - охотно отозвался Савва. - Четыре тысячи аршин - довольно? А сластей надо? Можно и сластей дать. Обедали? Я - с утра ничего не ел. Хотите со мною? Через десять минут.

Савва Морозов. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Глаза его блестели весело, ласково, крепкое тело перекачивалось по сцене легко, непрерывно звучал командующий голос, не теряясь в гулкой суете работы, в хаосе стука топоров, в криках рабочих. Быстрота четких движений этого человека говорила о его энергии, о здоровье.

По дороге в ресторан, быстро шагая, щурясь от огня фонарей, он восхищался Станиславским:

- Гениальнейший ребенок.

- Ребенок?

- Да, да! Присмотритесь к нему и увидите, что всего меньше он - актер, а именно ребенок. Он явился в мир, чтобы играть, и гениально играет людьми для радости людей. Существо необыкновенное.

В зале ресторана, небрежно кивая татарской головой в ответ на почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел в темный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и тотчас заговорил:

- Я - поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуальность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и все, что возбуждает его.

Мне показалось, что он несколько спешит с комплиментами. В те годы считалось обязательным говорить мне лестные слова, это было привычкой многих. Некоторое время я думал, что "кашу маслом не испортишь", но однажды мальчик, которому я подарил игрушку, сказал мне:

- Хорошая! Я ее изломаю.

- Зачем же?

- Я люблю ломать, которое мне нравится, - ответил мудрый мальчик, и мне показалось, что он - читатель, которому я нравлюсь.

Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко говорил:

- "Мыслю, значит - существую", это неверно! Или - этого мало. Мышление - процесс, замкнутый в себе самом, он может и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в таинственной сущности своей, не знаем - где его границы? Может быть, и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю: работаю, значит - существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание...

Слушая эти "марксистские" мысли, я думал: торопится этот человек развернуть предо мною свою "культурность", или же он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать и рад случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за словами чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало и небрежно; часто быстрым движением потирал стриженую голову, изредка улыбался, - улыбка гасила суховатый блеск глаз и делала лицо моложе.

Заметно было, что многие из публики наблюдают Морозова насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук ножей и вилок я расслышал хриплый вопрос:

- С кем это он?

А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей активностью.

- У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории, но очень немногие понимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли.

Было несколько странно слышать такие заявления из уст крупного промышленника, но я помнил, что в России "белые вороны", "изменники интересам своего класса" - явление столь же частое, как и в других странах. У нас потомок Рюриковичей - анархист; граф - "из принципа" - пашет землю и тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее яркими атеистами становятся богословы, а литература "кающихся

Савва Морозов. Максим Горький gorkiymaxim.ru
дворян" усердно обнажала нищету своей сословной идеологии. К тому же я знал, что богатый пермский пароходовладелец Н.Мешков активно помогает делу революции, и вспомнил умные слова из письма Н.Лескова:

"Если на Святой Руси человек начнет удивляться, так он остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом и простоит".

Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко мне, и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, беседуя на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила широта интересов этого человека, и я очень позавидовал обилию его знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за границей, избрав специальностью своей химию, писал большую работу о красящих веществах, мечтал о профессуре. Я спросил его: так ли это?

- Да, - с грустью и досадой ответил он. - Если б это удалось мне, я устроил бы исследовательский институт химии. Химия - это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области.

Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации материи, от него я впервые услышал об опытах Ле-Бона, Резерфорда, о интрамолекулярной энергии - все это тогда было новинкой не для меня одного.

Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он знал на память множество его стихов и говорил о нем с гордостью.

- Пушкин - мировой гений, я не знаю поэта, равного ему по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшебник, сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг ее, как сказочный дворец. Достоевский, Толстой - чисто русские гении и едва ли когда-нибудь будут поняты за пределами России. Они утверждают мнение Европы о своеобразии русской "души", - дорого стоит нам и еще дороже будет стоить это "своеобразие"! Знай Европа гений Пушкина, мы показали бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она привыкла видеть нас.

Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала и гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в белых вихрях ее тревожно махали черные ветви сада, отбиваясь от полетов метели. Взвизгивал ветер, что-то скрипело и шаркало о стену, - коренастый человек увлеченно говорил о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи Бальмонта, Брюсова и снова восхищался мудрой ясностью стихов Пушкина, декламируя целые главы из "Онегина".

И неожиданно спросил, прищурясь:

- Видели вы человека, похожего на Маякина?

Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп, говоря:

- Да, политиканствующий купец нарождается у нас. Я думаю, что он будет так же плохо делать политику, как плохо работает. Промышленника, который ясно понимал бы непрочность своего положения в крестьянской стране, я - не видал. Наш промышленник - слепой человек, его ослепляет неисчислимое богатство страны сырьем и рабочими руками. Он надеется на тупость безграмотного крестьянства, на малочисленность и неорганизованность рабочих и уверен, что это останется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что изгнившая власть Романовых свалится в руки ему, как перезревшая девка...

Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он добавил:

- Богатый русский - глупее, чем вообще богатый человек...

Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески продолжал:

- Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет революция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для сопротивления, и ее сметут, как мусор.

- Вы так думаете?

- Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою среду.

- Вы считаете революцию неизбежной?

- Конечно! Только этим путем и достижима европеизация России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране перешагнуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими людьми.

Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной комнаты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он угрюмо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, говорил.

- Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неискренним - ваше дело! - но я люблю народ. Допустите, что я люблю его, как любят деньги...

Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:

- Лично я - не люблю денег! Народ люблю, не так, как об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, братьев. Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он ленив, вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом оттого, что ему нечего делать на своей богатой земле, - его не учили и не учат работать. А талантлив он - изумительно! Я знаю кое-что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб он поумнел.

Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей фабрики, - а я вспомнил, что у него есть несколько стипендиатов рабочих, двое учились за границей.

Верным признаком его искренности было то, что он рассказывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность - это беседа с самим собою в присутствии другого; иногда - беспощадно откровенная беседа о себе и о своем, чаще - хитроумный диспут прокурора с адвокатом, объединенных в одном лице, причем защитник - всегда оказывается умнее обвинителя. Не думаю, чтоб так обнаженно могли говорить люди иных стран. И не очень восхищаюсь этим подобием объективизма - в таком объективизме чувствуется отсутствие уважения человека к самому себе.

Но в словах Саввы Морозова не прикрыто ничем взвизгивала та жгучая боль предчувствия неизбежной катастрофы, которую резко ощущали почти все честные люди накануне кровавых событий японской войны и 905-го года. Эта боль и тревога были знакомы мне; естественно, что они возбуждали у меня симпатию к Морозову.

Но все-таки я ждал, когда он спросит: "Вы удивляетесь, что я рассуждаю так революционно?"

Он не спросил.

- Легко в России богатеть, а жить - трудно! - тихо сказал он, глядя в окно на мятёж снежной бури. И снова заговорил о революции: только она может освободить личность из тяжелой позиции между властью и народом, между капиталом и трудом.

Между прочим, сказал:

- Я не Дон-Кихот и, конечно, не способен заниматься пропагандой социализма у себя на фабрике, но я понимаю, что только социалистически организованный рабочий может противостоять анархизму крестьянства...

Просидев до полуночи, он на другой день уехал, но с той поры каждый раз, бывая в Москве, я встречался с ним, и скоро мы стали друзьями, даже на "ты".

Внешний вид его дома на Спиридоновке напоминал мне с.кучный и огромный мавзолей, зачем-то построенный не на кладбище, а в улице. Дверь отворял большой усатый человек в костюме черкеса, с кинжалом у пояса; он казался совершенно лишним или случайным среди тяжелой московской роскоши и обширного вестибюля.

Прямо из вестибюля в кабинет хозяина вела лестница с перилами по рисунку, кажется, Врубеля, - вереница женщин в широких белых одеждах, танцующая, легко

Савва Морозов. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

взлетала вверх. В кабинете Саввы – все скромно и просто, только на книжном шкафе стояла бронзовая голова Ивана Грозного, работа Антокольского. За кабинетом – спальня; обе комнаты своей неуютностью вызывали впечатление жилища холостяка.

А внизу – гостиная чудесно расписана Врубелем, холодный и пустынный зал с колоннами розоватого мрамора, огромная столовая, с буфетом, мрачным, как модель крематориума, и во всех комнатах – множество богатых вещей разнообразного характера и одинакового назначения: мешать человеку свободно двигаться.

В спальне хозяйки – устрашающее количество севрского фарфора: фарфором украшена широкая кровать, из фарфора рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном столе и по стенам, на кронштейнах. Это немножко напоминало магазин посуды. Владелица обширного собрания легко бьющихся предметов, m-me Морозова, кажется, бывшая шпильница на фабрике Викулы Морозова, с напряжением, которое ей не всегда удавалось скрыть, играла роль элегантной дамы и покровительницы искусств. Она писала своим поклонникам и людям, которые ей, видимо, нравились, письма на голубоватой бумаге, рассказывая, что во сне она видит красные цветы, – в ту пору многие дамы говорили о красных цветах, их развел кто-то из поэтов, кажется – Бальмонт; под цветами подразумевалось нечто совершенно иное. В гостиной хозяйки висела васнецовская "Птица-Гамаюн", превосходные вышивки Поленовой-Якунчиковой, и все было "как в лучших домах".

Савва Морозов не любил бывать внизу. Я не однажды замечал, что он смотрит на пеструю роскошь комнат, иронически прищурив умные свои глаза. А порою казалось, что он ходит по жилищу своему как во сне, и это – не очень приятный сон. Личные его потребности были весьма скромны, можно даже сказать, что по отношению к себе он был скуп, дома ходил в стоптанных туфлях, на улице я видел его в заплатанных ботинках.

Он внимательно следил за литературой и не смотрел на книгу как на источник тем для "умного разговора". Его суждения о литературе не отличались оригинальностью, но в них всегда было что-то верное. По поводу "Скудной истории" А.П.Чехова он спрашивал:

– Почему для русского ученого характерно настроение Бутлерова или Вагнера, а не Сеченова, Менделеева, Мечникова?

Находил, что в "Мужиках" автор недостаточно объективен:

– Несправедливо писать о подгородних мужиках как о типичных русских крестьянах. Мне кажется, что и Чехов пишет о мужиках, подчиняясь Бальзаку.

Он вообще не любил А.П.Чехова.

– Пишет он брюзгливо, старчески, от его рассказов садится в мозг пыль и плесень.

И упрямо доказывал, что пьесы Чехова надо играть как комедии, а не как лирические драмы.

Прочитав "Антоновские яблоки" Бунина, он один из первых оценил крепкий талант автора, с восторгом говоря:

– Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниевцев...

В ту пору он увлекался Художественным театром, был одним из директоров его, но говорил:

– Ясно, что этот театр сыграет решающую роль в развитии сценического искусства, он уже делает это. Но вот странность: у нас лучший в мире балет и самые скверные школы. У нас легко найти денег на театр, а наука – в загоне.

Он восторженно рассказывал о молодом физике П.Лебедеве, примирившем своими опытами со светом спор Максвелла и Кельвина.

– Вероятно, он будет такой же силой в нашей науке, каковы Менделеев и физиолог Павлов...

Лебедев, принужденный уйти из университета по мотивам "неблагонадежности"

Савва Морозов. Максим Горький gorkiymaxim.ru
политической, скоро погиб, работая в тяжелых условиях, где-то в подвале.

Не знаю, были ли у Морозова друзья из людей его круга, - я его встречал только в компании студентов, серьезно занимавшихся наукой или вопросами революционного движения. Но раза два, три, наблюдая его среди купечества, я видел, что он относится к людям неприязненно, иронически, говорит с ними командующим тоном, а они, видимо, тоже не очень любили его и как будто немножко побаивались. Но слушали - внимательно.

Он как-то очень быстро и легко втянулся в дела помощи социал-демократической партии и начал давать деньги на издание "Искры".

Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов "тратил на революцию миллионы", - разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его годовой доход - по его словам - не достигал ста тысяч. Он давал на издание "Искры", кажется, двадцать четыре тысячи в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политическому "Красному Кресту", на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных организаций и в помощь разным лицам, причастным к партийной работе социал-демократов большевиков.

Не избегал он и личного риска. Помню, - московская полиция выследила Баумана, он был, кажется, нелегальный; шпионы ходили за ним по пятам, измученный травлей человек терял силы, уже дважды ему пришлось ночевать на улице. Наконец решено было спрятать его у Морозова.

И вот, дня через два, идя по Садовой, я вижу: в легких санках, запряженных рысаком, мчится Савва, ловко правя лошадью, а рядом с ним, закутанный в шубу, - Бауман. Вечером я сказал Морозову:

- Рискованно было возить Баумана днем, по улицам...

Он весело усмехнулся.

- А у меня даже явилось мальчишеское желание провезти его по Тверской, по Кузнецкому и угостить обедом у Тестова. Предлагал ему, а он, видимо, подумал, что я шучу, - засмеялся.

Прищурился, поглажив татарский череп, Савва задумчиво сказал:

- Говорят - евреи трусливы. Чепуха! Хороший малый - этот Бауман. Он у меня наверху, на биллиарде спал, а внизу - Рейнбот гудит. Забавно! Две ночи напролет беседовал я с ним. Настоящий, крепко верующий человек. Я рад, что пришлось помочь такому...

Помолчав, он предложил:

- В этих случаях надо иметь в виду меня. Мне - легко!

Он спрятал Баумана в своем имении "Горки", где теперь, летом, живет В.И. Ленин.

В одном случае - я хорошо знаю это - Морозову довелось отвезти на фабрику к себе чемодан нелегальной литературы; взявшись за это, он предупредил:

- Условие: никто из рабочих не должен знать, что это я привез! Я не охоч до дешевой популярности.

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии в Иваново-Вознесенск.

После раскола партии он определенно встал на сторону большевиков, объясняя это так:

- Ленинское течение - волевое и вполне отвечает объективному положению дел. Видишь ли: русский активный человек, в какой бы области он ни работал, обязательно будет максималистом, человеком крайности. Я не знаю, что это: органическое свойство нации или что другое, но в этом есть логика, я ее чувствую. Очень вероятно, что, когда революция придет, Ленина и его группу вздуют, истребят, но - это уж дело второстепенное.

Савва Морозов. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

И снова пророчески добавил:

- Для меня несомненно, что это течение сыграет огромную роль.

Он вообще очень верно оценивал людей; после свидания с одним из большевиков он сказал:

- Это корабль большого плавания. Жаль будет, если он размотается по тюрьмам и ссылкам.

Впоследствии, устроив этого человека у себя на фабрике, он познакомился с ним ближе и, шутливо хвастаясь проницательностью своей, добавил:

- Не ошибся я, - человек отличных способностей. Такого куда хочешь сунь, он везде будет на своем месте.

Человек, о котором он говорил, ныне является одним из крупнейших политических деятелей России.

Савва внимательно следил за работой Ленина, читал его статьи и однажды забавно сказал о нем:

- Все его писания можно озаглавить: "Курс политического мордобоя" или "Философия и техника драки". Не знаешь - в шахматы играет он?

- Не знаю

- Мыслит, как шахматист. В путанице социальных отношений разбирается так легко, как будто сам и создал ее.

Вспоминая его предвидения событий и оценки людей, я убеждаюсь в дальнорзости его ума. Помню, в 903-м году у Леонида Андреева беседовали на тему о неизбежности уступок со стороны монархии.

- Мы - накануне конституции, - убежденно доказывал кто-то. В то время это было убеждение весьма распространенное, даже я, не политик, держал пари с шестью лицами по гривеннику, что через три года мы будем жить в конституционном государстве.

Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и негромко:

- Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб оно поняло выгоду конституции для него. Если же обстоятельства понудят его дать эту реформу, - оно даст ее наверняка в самой уродливой форме, какую только можно выдумать. В этой форме конституция поможет организовать контрреволюционным группам и раздробит и революционную интеллигенцию и, конечно, рабочих.

Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:

- Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом, - все равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.

Кто-то крикнул:

- Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!

- Может быть, - спокойно ответил Савва.

Его революционные симпатии и речи все-таки казались загадочными, но они стали более понятны мне после одной беседы о Ницше. Рассказывая, как А.П.Чехов жил у него в пермском имении, Савва, между прочим, сказал:

- Начал Антон Павлович читать Ницше, но скоро бросил книгу: "Он, говорит, оглушает меня, как двадцать барабанщиков".

Я спросил Савву, - а как он думает о превосходном немецком пиротехнике?

- Это вполне понятное явление после Шопенгауэра и Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики, как был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их сродство. А вне отношения к немцам, Ницше - для меня жуткий признак духовного оскудения Европы. Это - крик больного о его желании быть здоровым. Изработалась эта великолепная машина и скрипит во всех частях. Она требует радикального ремонта, но министры ее - плохие слесаря. Только в области экспериментальных наук и техники она продолжает свою работу энергично, но совершенно обессилела в творчестве социальном. Ницше пробовал создать новую идеологию, но в существе своем идеология эта уже дана в философских драмах Ренана. Книги Ницше нечто вроде экстракта Броун-Секара, даже не тот "допинг", который дают лошадям на бегах, чтоб увеличить их резвость. Я читал эти книги с некоторым отвращением и, пожалуй, злорадством. Европа относится к нам свински, и, понимаешь, немножко приятно слышать, когда она голосом Ницше да подобных ему кричит от боли, от страха, предчувствуя тяжелые дни. Славянофильство, народничество и все другие виды сентиментального идиотизма - чужды мне. Но я вижу Россию как огромное скопление потенциальной энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора. Мы - талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. Поэтому я и говорю: во что бы то ни стало нам нужна революция, способная поднять на ноги всю массу народа.

Мы пришли с похорон А.П.Чехова и сидели в саду Морозова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так "нежно любимого" Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: "Для устриц". Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя шагало человек сто, не более; мне очень памяты два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках. Идя сзади их, я слышал, что один говорит об уме собак, другой расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

- Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околodочный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

Проводив гроб до какого-то бульвара, Савва предложил мне ехать к нему пить кофе, и вот, сидя в саду, мы грустно заговорили об умершем, а потом отправились на кладбище. Мы приехали туда раньше, чем пришла похоронная процессия, и долго бродили среди могил. Савва философствовал:

- Все-таки - не очень остроумно, что жизнь заканчивается процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а только брезгливое чувство, - момент погружения в смерть я представляю как падение в компостную яму. Последние минуты жизни должны быть наполнены ощущением засасывания тела какой-то липкой, едкой и удушливо-пахучей средой.

- Но ведь ты веришь в бога?

Он тихо ответил:

- Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и ничего кроме не хочет знать.

В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный бас угрожающе возгласил:

- Вечная память!

Мне казалось, что к женщинам Морозов относится необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной являлось для него необходимостью тяжелой и неприятной. "Девка" - было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, он произносил это слово с брезгливостью сектанта. А однажды сказал:

Савва Морозов. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха. Вообще же любовь - литература, нечто словесное, выдуманное.

Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.

Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрюмой неприязни к людям.

- Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убедить сотого: жизнь бессмысленна! - говорил он в такие дни.

Он упорно искал людей, которые стремились так или иначе осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва не находил слов, чтоб понятно рассказать себя, и люди уходили от него, унося впечатление темной спутанности.

Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в комнате гостиницы "Княжий двор", молча пил крепкий чай и назойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно, по стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось, что вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.

- Что с тобой? - спросил я.

- Сплю плохо, - неохотно ответил Савва, сморщив лицо. - Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там - тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на кадках, ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, и эта медленность невыносима, мучительна. Как будто все крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но - не могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой тревоге, весь в поту.

И вдруг, вскочив, он забегал по комнате, нервно взвизгивая и скаля зубы:

- Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархисты в мундирах сановников, - вот! - затеяли войну. Японцы бьют нас, как мальчишек, а они шутки шутят, шуточки! Макаки, кое-каки и прочее... Бессмысленно, преступно...

Сразу оборвав свои крики - точно оступился и упал - он остановился среди комнаты, спрашивая:

- Неужели и это пройдет безнаказанно для них?

И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай. Потом заговорил несвязно и отрывисто:

- Совершенно невероятно наше отношение к интересам России, к судьбе народа!

Говорил о том, что в Европе промышленники обладают более или менее ясным сознанием своих задач. Да, они хищники, но их работа более культурна, чем работа русских, ибо она более плодотворна технически. В России влияние промышленности на власть - это чисто физическое давление тяжести, массы, нечто слепое, неосмысленное.

- В мире творчески работают три силы: наука, техника, труд; мы же технически - нищие, наука у нас под сомнением в ее пользе, труд поставлен в каторжные условия, - невозможно жить. Немецкая фабрика- научное учреждение. Возьми все новые англосаксонские организации- Австралию, Соединенные Штаты, Гвинею, - все это создано энергией людей небольшого государства. А что делаем мы, стомиллионная масса людей? У нас превосходные работники, духоборы, убежали в Америку...

Он говорил все более сбивчиво, было ясно, что мысли его кипят, но он не в силах привести их в порядок. И незаметно для меня, как-то вдруг, начал говорить о своей личной жизни.

- Мы вообще не умеем жить. Вот - я живу плохо, трудно. Это даже со стороны видят. Старик ткач, приятель моего отца, недавно сказал мне: "Брось фабрику, Савва, брось да уйди куданибудь. Не в твоём характере купечествовать. Не удал ты хозяин". Это - верно! Но куда же я уйду? Хотя есть люди, очень заинтересованные в том, чтоб я ушел или издох...

Он болезненно засмеялся.

Мне рассказывали, что, когда Савва приезжал на фабрику, мальчишки били камнями стекла в окнах комнат, где он жил, и было установлено, что мальчишкам платят за это по двугривенному. Слышал я также, что Савва получает анонимные письма с угрозами убить его.

- Правда это?

- Ну да, - ответил он - Меня, видишь ли, хотят перевоспитать и немножко пугают. Я, конечно, хорошо знаю, откуда это идет. Не думай, что от революционно настроенных рабочих, но мне хотят внушить, что именно от них. Тут действуют хулиганы, способные за трешницу и не на такие пустяки. У меня письма с покаяниями таких ребят, - за покаяние, конечно, просят уплатить. Один кающийся - его я велел рассчитать - даже назвал человека, подкупившего его избить меня. В комнатах у меня делают обыски, недавно украли "Искру" и литографированный доклад фабричного инспектора с моими пометками...

Закрыв глаза, он вздохнул:

- Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно, что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это - знают, и этим тоже пытаются застрашать меня. Семья у нас - не очень нормальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это - хуже смерти...

Я попробовал разубедить его, но он сказал, махнув рукою:

- Брось. Я грамотен. Знаю.

Заговорил о Леониде Андрееве:

- Он тоже боится безумия, но хочет других свести с ума. Я скромнее его. У нас и в Соединенных Штатах одно и то же: третье поколение крупных промышленников дает огромный процент нервно и психически больных, дегенератов. Ты знаешь это?

Видимо, он внимательно следил за этим явлением: перечислил мне длинный ряд русских и американских семей, отмечая с точностью и в терминах психиатра признаки и факты дегенерации.

За окном потемнело и все хлестало, гудел дождь, взвизгивал ветер.

- Поедем куда-нибудь? - предложил Савва.

Поехали в театр, но дорогой Морозов, остановив извозчика, сказал:

- Нет, пойду домой, лягу спать... Прощай...

И, подняв воротник пальто, нахлобучив шляпу, ушел.

Незадолго до кровавых событий 9 января 905-го года Морозов ездил к Витте с делегацией промышленников, пытался убедить министра в необходимости каких-то реформ и потом говорил мне:

- Этот пройдоха, видимо, затевает какую-то подлую игру. Ведет он себя как провокатор. Говорить с ним было, конечно, бесполезно и даже глупо. Хитрый скот.

А накануне 9 января, когда уже стало известно, что рабочие пойдут к царю, Савва предупредил:

- Возможно, что завтра в городе будет распоряжаться великий князь Владимир и будет сделана попытка погрома редакций газет и журналов. Наверное, среди интеллигенции будут аресты. Надо думать, что гапоновцы не так глупы, чтоб можно было спровоцировать их на погром, но, вероятно, полиция попытается устроить какую-нибудь пакость. Не худо было бы организовать по редакциям самооборону из рабочих, студентов, да и вообще завтра следует гулять с револьвером в кармане. У тебя есть?

У меня не было. Он вытащил из кармана браунинг, сунул его мне и поспешно ушел,

Савва Морозов. Максим Горький gorkiyamaxim.ru
но вечером явился снова, встревоженный и злой.

- Ну, брат, они решили не пускать рабочих ко дворцу, будут расстреливать. Вызвана пехота из провинции, кажется - 144-й полк, вообще решено устроить бойню.

Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты "Сын отечества" и застал там человек полтораста, обсуждающих вопрос: что делать? Молодежь кричала, что надо идти во главе рабочих, но кто-то предложил выбрать депутацию к Святополку-Мирскому, дабы подтвердить "мирный" характер намерений рабочих и указать министру на засады, устраиваемые полицией всюду в городе. Кажется - так, я неточно помню задание, возложенное на депутацию, хотя, неожиданно для себя, и был выбран в ее состав.

Я был занят беседой с рабочим Кузиным, деятельным гапоновцем, кто-то, кажется Петр Рутенберг, познакомил меня с ним за несколько дней перед этим. Кузин, оказавшийся впоследствии агентом охраны, убеждал меня в необходимости для рабочих идти с красными флагами и революционными лозунгами, доказывал, что революционные организации должны взять движение в свои руки.

- Бойня все равно будет! - говорил он, улыбаясь. - Ведь ладком да мирком - ничего не достигнем, пусть рабочие убедятся в этом...

Он был тоже выбран в члены депутации, куда вошли Н.Ф.Анненский, В.И.Семевский, Н.Кареев, А.В.Пешехонов, В.А.Мякотин, И.Гессен, Кедрин и я. Поехали на четырех извозчиках, я - в паре с Кузиным.

- Флажки надо выкинуть, флажки, а так, просто гулять - какой толк? мечтательно и настойчиво повторял Кузин.

Был он человек тощий, с маленькой вертлявой головкой; красненький мокрый нос казался нарывом на его лисьем лице, глазки его мигали тревожно, губы заискивающе улыбались, и весь он - в явном разладе с назойливой революционностью своих речей.

Лениво падал мелкий снег. На Невском - необычно пустынно, хотя было не позднее десяти часов вечера: ворота домов заперты, всюду молча жмутся тяжелые туши дворников. Тяготило предчувствие неизбежной трагедии, и казалось, что фонари горят менее ярко, чем всегда.

- Полицейских-то на постах - нет, - заметил Кузин, вздохнув.

Приехали на Фонтанку к товарищу министра Рыдзевскому; он встретил нас, сунув руки в карманы, не поклонясь, не пригласив стариков депутации сесть, молча, с неподвижным лицом выслушал горячую речь взволнованного до слез Н.Ф.Анненского и холодно ответил, что правительство знает, что нужно ему делать, и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжения. Кажется, он добавил, что нам нужно было попытаться влиять на рабочих, дабы они не затевали демонстрации, а о каком-либо влиянии на правительство - не может быть речи.

Кто-то сказал:

- Мы - не частные лица, мы люди, уполномоченные собранием интеллигенции...

Рыдзевский, не дослушав, повернулся боком и поднял руку к лицу, как будто желая прикрыть зевок.

Не помню, почему не поехали к Святополку, кажется, он не захотел принять депутацию. Решили ехать к Витте; дорогой на Петроградскую сторону Кузин спрашивал меня: правда ли, что Рыдзевский - внук Александра II?

- Не все ли вам равно, чей он внук?

Кузин не ответил, но на Троицком мосту тихо сказал:

- Пожалуй - правда. Принял он нас по-царски. Гордо...

Витте не было дома. Часа полтора сидели в библиотеке, ожидая его, наконец он явился и любезно пригласил нас в кабинет.

Сидя за массивным столом, на котором возвышался большой фотографический портрет Александра III, Витте методически прихлебывал из большого стакана какую-то мутно-опаловую жидкость и снисходительно слушал речи Мякотина, Анненского, ощупывая бойкими глазами каждого из нас по очереди. Голова Витте показалась мне несоразмерно маленькой по сравнению с тяжелым его телом быка, лоб несоразмерно велик сравнительно с черепом, во всем облике этого человека было что-то нескладное, недоделанное. Курносое маленькое лицо освещали рысьи глазки, было что-то отталкивающее в их цепком взгляде. Он шевелил толстым пальцем, искоса любясь блеском бриллианта в перстне.

Он заговорил тоном сожаления, пожимая плечами, приподнимая жидкие брови, улыбаясь скользкой улыбкой, – это делало его еще более неприятным. Голос звучал гнусавенко, слова сыпались обильно и легко, мне послышалось в них что-то хвастливое, и как будто он жаловался, но смысла слов я не мог уловить, и почти ничего не оставили они в моей памяти. Помню только, что, когда он внушительно сказал: "Мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа..." – я почувствовал в этой фразе что-то наглое, ироническое и грубо прервал его:

– Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что, если завтра прольется кровь, – они дорого заплатят за это.

Он искоса мельком взглянул на меня и продолжал сыпать пыль слов. Потом предложил нам перейти в библиотеку на время, пока он переговорит с князем Святополком. Мы ушли, я слышал, что он говорит по телефону, но у меня осталось странное впечатление, что он звонил своему швейцару и беседовал с ним.

Не знаю, каков был ответ Святополка – или швейцара, – я не входил в кабинет на приглашение Витте и не спрашивал об этом членов депутации. Я вообще чувствовал себя не на своем месте в этой депутации. К тому же меня очень интересовал Кузин – я увидел, что он очарованно смотрит на коллекцию орденов в витрине; согнувшись над ней, почти касаясь пуговицей носа стекла ее, он смотрел на орден, из рта его тянулась нить слюны и капала на стекло. Когда я окликнул его, он с трудом выпрямил спину и, улыбаясь масляной, пьяной улыбкой, сказал, вздохнув:

– Сколько... накопил, черт...

Шмыгнул мокрым носом и крепко вытер лицо рукавом пиджака. Все это было неопишимо противно. Назад, в редакцию, я уже не мог ехать с Кузиным.

В редакцию мы возвратились около трех часов утра, доложили о бесполезности наших визитов, не рассказывая о их унизительности; удрученная публика начала расходиться. Мне пришлось в голову, что необходимо составить отчет о нашем путешествии по министрам, я предложил это, публика согласилась со мною, и мне предложили к утру написать отчет.

Дома дверь отпер мне Савва Морозов, сердито спросив:

– Где это ты увяз?

Я наскоро рассказал ему.

– Напрасно ты путаешься в такие дела, – хмуро заметил он.

– Не мог же я отказаться, если выбрали!

– Н-ну... А я думал, тебя арестовали.

Обняв меня за талию, он сказал:

– У меня есть предчувствие, что завтра тебе и многим свернут головы. Как ты думаешь?

Я сказал, что не чувствую себя настолько остроумным, чтоб ответить на такой вопрос, и сел писать отчет, а он пошел к себе в гостиницу, предупредив меня:

– Ты завтра один не выходи на улицу, вместе пойдем. Я зайду за тобой в восемь часов...

Но в шесть за мной пришел мой добрый знакомый Леонтий Бенуа, и мы с ним отправились на Выборгскую сторону; там, среди рабочих, были товарищи, нижегородцы Антон Войткевич, большевик, и его жена Иваницкая. Насколько я знаю, первый красный флаг и первый крик "Долой самодержавие!" раздался 9 января среди толпы выборжцев на Сампсониевском мосту. С флагом шел Войткевич, этот флаг я принужден был сжечь вместе с некоторыми заметками моими во время обыска у меня в Риге.

Лозунг рабочие поддержали слабо, недружно, он даже вызвал сердитые окрики:

- Долой флаг! Убрать! Товарищи, не надо раздражать полицию! Мирно...

Длинный лысый человек, размахивая шапкой, кричал около меня.

- Не поддавайтесь на провокацию-у-у!

Эту толпу расстреляли почти в упор, у Троицкого моста. После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской крепости выскочили драгуны и начали рубить людей шашками. Особенно старался молодой голубоглазый драгун со светлыми усиками, ему очень хотелось достать шашкой голову красавца Бенуа; длинноволосый брюнет с тонким лицом, он несколько напоминал еврея, и, должно быть, это разжигало воинственный пыл убийцы. Бенуа поднимал с земли раненного в ногу рабочего, а драгун кружился над ним и, взвизгивая, как женщина, пронзительно, тонко, взмахивал шашкой. Но лошадь его брыкалась, не слушая узды, ее колотил толстой палкой по задним ногам рыжий рабочий, - точно дрова рубя. Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо от глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный глаз рабочего, и до сего дня режет мне память визг драгуна, прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода или возбуждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбом на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он взвизгивал, а ударив человека - кричал и плевал, не разжимая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он дважды вытер шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой передник.

Странно было видеть равнодушие солдат; серой полосой своих тел заграждая вход на мост, они, только что убив, искалечив десятки людей, качались, притопывая ногами, как будто танцуя, и, держа ружья к ноге, смотрели, как драгуны рубят, с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на ледоход или на фокусы наездников в цирке.

Потом я очутился на Полицейском мосту, тут небольшая толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента, он стоял на перилах моста, держась одною рукой за что-то и широко размахивая сжатым кулаком другою. Десяток драгун явился как-то незаметно, поразительно быстро раздавил, разбил людей, а один конник, подскакав к студенту, ткнул его шашкой в живот, а когда студент согнулся, ударом по голове сбросил за перила, на лед Мойки.

Выход из Гороховой на площадь был заткнут матросами гвардейского экипажа, их офицеры собрались группой на тротуаре, матросы тоже стояли "вольно", разбивши фронт на кучки. Один из них, широкорожий, могучий, как цирковой борец, грубо крикнул нам:

- Куда лезете?

Но посторонился и пропустил нас, сказав вслед:

- Там вам...

Точно большая собака дважды тявкнула,

Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, когда горнист трубил боевой сигнал, и тотчас же солдаты, преграждавшие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в густую, плотную толпу. С каждым залпом люди падали кучами, некоторые - головой вперед, как будто в ноги кланяясь убийцам. Крепко въелись в память бессильные взмахи рук падавших людей.

У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, и я едва сдерживал его, а Бенуа тащил меня за руку вперед и, точно пьяный, рыдающим голосом кричал:

- Эй, сволочь, бей, убивай...

Близко от солдат, среди неподвижных тел, полз на четвереньках какой-то подросток, рыжеусый офицер не спеша подошел к нему и ударил шашкой, подросток припал к земле, вытянулся, и от его головы растеклось красное сияние.

Толпа закружила нас и понесла на Невский. Бенуа куда-то исчез. А я попал на Певческий мост, он был совершенно забит массой людей, бежавших по левой набережной Мойки, в направлении к Марсову полю, откуда встречу густо лилась другая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а по набережной гнал людей отряд драгун. Когда он втиснулся на мост, безоружные люди со свистом и ревом стиснули его, и один за другим всадники, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве. У дома, где умер Пушкин, маленькая барышня пыталась приклеить отрубленный кусок своей щеки, он висел на полоске кожи, из щеки обильно лилась кровь, барышня, всхлипывая, шевелила красными пальцами и спрашивала бегущих мимо ее:

- Нет ли у вас чистого платка?

Чернобородый рабочий, по-видимому, металлист, темными руками приподнял ее, как ребенка, и понес, а кто-то сзади меня крикнул:

- Неси в Петропавловскую больницу, всего ближе...

Толпа была настроена неопределенно, в общем - угрюмо, но порою среди нее раздавались оживленные возгласы и даже смех. Иные шагали не спеша, рассеянно оглядываясь по сторонам, как бы не зная, куда идут, другие бежали, озабоченно толкая попутчиков, я мало слышал восклицаний злобы и гнева. Помню: обогнал меня, прихрамывая, старичок в бабьей ватной кофте, оглянулся и, подмигнув мне веселым глазом, спросил:

- Хорошо угостили?

На голове у него торчала порыжевшая трепаная шапка, а в пальцах правой руки он держал небольшой булжжик.

Дома мне отпер дверь опять-таки Савва Морозов с револьвером в руке; я спросил его:

- Что это ты вооружился?

- Прибегают какие-то люди, спрашивают: где Гапон? Черт их знает, кто они.

Это было странно: я видел Гапона только издали, на собраниях рабочих, и не был знаком с ним. Квартира моя была набита ошеломленными людьми, я отказался рассказывать о том, что видел, мне нужно было дописать отчет о визите к министрам. И вместо отчета написал что-то вроде обвинительного акта, заключив его требованием предать суду Рызевского, Святополка-Мирского, Витте и Николая II за массовое и преднамеренное убийство русских граждан.

Теперь этот документ не кажется мне актом мудрости, но в тот час я не нашел иной формы для выражения кровавых и мрачных впечатлений подлейшего из всех подлых дней царствования жалкого царя.

Только что успел дописать, как Савва, играя роль швейцара и телохранителя, сказал угрюмо:

- Гапон прибежал.

В комнату сунулся небольшой человечек с лицом цыгана, барышника бракованными лошадьми, сбросил с плеч на пол пальто, слишком широкое и длинное для его тощей фигуры, и хрипло спросил:

- Рутенберг - здесь?

И заметался по комнате, как обожженный, ноги его шагали, точно вывихнутые, волосы на голове грубо обрезаны, торчали клочьями, как неровно оборванные, лицо

Савва Морозов. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
мертвенно-синее, и широко открытые глаза – остеклели, подобно глазам покойника.
Бегая, он бормотал:

– Дайте пить! Вина. Все погибло. Нет, нет! Сейчас я напишу им.

Потом бессвязно заговорил о Фуллоне, ругая его.

Выпив, как воду, два чайных стакана вина, он требовательно заявил:

– Меня нужно сейчас же спрятать, – куда вы меня спрячете?

Савва сердито предложил ему сначала привести себя в лучший порядок, взял ножницы со стола у меня и, усадив попа на стул, брезгливо морщась, начал подстригать волосы и бороду Гапона более аккуратно. Он оказался плохим парикмахером, а ножницы – тупыми. Гапон дергал голову, вскрикивая:

– Осторожнее, – что вы?

– Потерпите, – нелюбезно ворчал Савва.

Явился Петр Рутенберг, учитель и друг попа, принужденный через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать от лица Гапона воззвание к рабочим, – это воззвание начиналось словами:

"Братья, спаянные кровью".

Поп послал Н.П.Ашешова к рабочим с какой-то запиской, пришел Ф.Д.Батюшков и еще какие-то удрученные люди, они заявили, что Гапон – убит и что сейчас по Невскому полиция провезла его труп, – "труп" в это время мылся в уборной. Явился еще кто-то и сказал, что Гапон жив, его ищет полиция, обещано вознаграждение за арест попа.

Батюшков предложил отвести Гапона в Вольно-Экономическое общество, где собралась интеллигенция, – не помню мотивов этого предложения. Савва, усмехаясь, сказал:

– Да, да, пускай посмотрят...

Он был настроен раздраженно, говорил угрюмо и смотрел на Гапона с явной неприязнью. Гапон сначала отказался ехать, но его убедили, тогда он попросил загримировать ему лицо, и Морозов повез его к режиссеру Художественного театра Асафу Тихомирову, гримировать.

Тихомиров не очень понял трагизм момента, из его рук поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модного магазина. В этом виде я и отвез его и Вольно-Экономическое общество, где заявил с хором, что Гапон – жив, вот он! И показал его публике.

В Вольно-Экономическом обществе представители рабочих разных заводов и фабрик рассказывали о событиях дня; узнав, что Гапон тут, они пожелали видеть его, но поп отказался от свидания с ними и тотчас же уехал с Батюшковым, который дня через два отправил его в Финляндию.

А я пошел домой во тьме, по улицам, густо засеянным военными патрулями, преследуемый жирным запахом крови. Город давила морозная тишина, изредка в ней сухо хлопали выстрелы, каждый такой звук, лишенный эха, напоминал о человеке, который, бессильно взмахнув руками, падает на землю.

Дома медленно ходил по комнате Савва, сунув руки в карманы, серый, похудевший, глаза у него провалились в темные ямы глазниц, круглое лицо татарина странно обострилось.

– Царь – болван, – грубо и брюзгливо говорил он. – Он позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливали сегодня, полтора года тому назад стояли на коленях пред его дворцом и пели "Боже, царя храни..."

– Не те люди...

Он упрямо тряхнул головой:

- Те же самые русские люди. Стоило ему сегодня выйти на балкон и сказать толпе несколько ласковых слов, дать ей два, три обещания, исполнить их не обязательно, - и эти люди снова пропели бы ему "Боже, царя храни". И даже могли бы разбить куриную башку этого попа об Александровскую колонну... Это затянуло бы агонию монархии на некоторое время.

Он сел рядом со мною и, похлопывая себя по колену ладонью, сказал:

- Революция обеспечена! Года пропаганды не дали бы того, что достигнуто в один день.

- Жалко людей, - сказал я.

- Ах, вот что? - Он снова вскочил и забегал по комнате. - Конечно, конечно. Однако - это другое дело. Тогда не надо говорить им: вставайте! Тогда убеждай их - пусть они терпеливо лежат и гниют. Да, да!

Я лежал на диване; остановясь предо мною, Савва крепко сказал:

- Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом. Я не знаю, когда жизнь перестанут строить на крови, но в наших условиях гуманность - ложь! Чепуха.

И снова присел ко мне, спрашивая:

- А куда сунули попа? Ух, противная фигура! Свиной пасти не доверил бы я этому вождю людей. Но если даже такой, - он брезгливо сморщился, проглотив какое-то слово, - может двигать тысячами людей, значит: дело Романовых и монархии - дохлое дело! Дохлое... Ну, я пойду! Прощай.

Он взял меня за руки и поднял с дивана, сердечно говоря:

- Вероятно, тебя арестуют за эту бумагу, и мы не увидимся долго. А я скоро поеду за границу, надо мне лечиться.

Мы крепко обнялись. Я сказал:

- Ночевал бы здесь. Смотри, - подстрелят...

- Потеря будет невелика, - тихо сказал он, уходя.

На другой день вечером я должен был уехать в Ригу и там тотчас же по приезде был арестован. Савва немедля начал хлопотать о моем освобождении и добился этого, через месяц меня освободили под залог, предав суду. Но Морозов уже уехал за границу раньше, чем я вышел из Петропавловской крепости, я больше не видал его.

За границей он убил себя, лежа в постели, выстрелом из револьвера в сердце.

За несколько дней до смерти Саввы его видел Л.Б.Красин. Возвращаясь из Лондона, с Третьего съезда партии, он заехал к Морозову в Виши; там, в маленькой санатории, Савва встретил его очень радостно и сердечно, но Красин сразу заметил, что Савва находится в состоянии болезненной тревоги.

- Рассказывайте скорее, как идут дела. Скорее, я не хочу, чтоб вас видели здесь...

- Кто?

- Вообще... жена и вообще...

На глазах его сверкали слезы, он вызывал впечатление человека, который только что пережил что-то тяжелое, глубоко потрясен и ждет новых тревог.

Это был хороший друг, сердечно близкий мне человек, я очень любил его.

Но когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который условия затискали этого человека, был

Савва Морозов. Максим Горький gorkiymaxim.ru

только один выход – в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его семьи и его круга. Его пугали неизбежностью безумия, и, может быть, некоторые были искренно убеждены, что он действительно сходит с ума.

После смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики возникла легенда: Савва не помер, вместо него похоронили другого, а он "отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму".

Легенда эта жила долго, вплоть до революции...

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!